

Николаус Ленау

Имя Николауса Ленау мало знакомо советскому читателю, хотя творчество этого крупного немецкого лирика заметно повлияло на развитие русской поэзии. Известно, как высоко ценили его такие наши поэты-лирики, как Ф. Тютчев и А. Фет, а позднее Валерий Брюсов (который говорил о нем, как о «немецком Тютчеве», что было величайшей похвалой в устах такого знатока и ценителя тютчевской поэзии) и, наконец, Борис Пастернак. Тютчев, Фет, Брюсов были также и переводчиками Ленау; но никто из них не шел здесь дальше нескольких, весьма малочисленных опытов. Можно говорить о тютчевском Шиллере, о фетовском Катулле, Гафизе или Гете, о брюсовском Вергилии или Верхарне, но никак не о тютчевском, фетовском, брюсовском Ленау. Вот почему предпринятый В. Левиком перевод избранной лирики Ленау несомненно заслуживает нашего внимания; тем более, что мы здесь имеем дело с бесспорным, по нашему убеждению, достижением советского переводческого искусства. Ниже воспроизведенный цикл стихов Ленау достаточно обширен, чтобы дать представление о замечательном даровании немецкого поэта.

Отмечая влияние Ленау на развитие русской лирики, необходимо, однако, сделать одну существенную оговорку. Властителем дум русских поэтов Ленау не был, как не был он и знаменосцем определенного литературного направления у себя на родине. Скорее всего, Ленау привлек к себе внимание наших лириков самим качеством своего дарования, какой-то ноткой, родственной русскому поэтическому складу. Уроженец Австро-Венгрии, он рос и развивался на стыке немецкой и славянских культур; и поэзия его черпает из обоих источников.

Тютчев с полным основанием (и в силу собственного пристрастия к этому жанру) ценил Ленау прежде всего за его стихи о природе. Впрочем, стихами о природе их можно назвать безоговорочно, только игнорируя характеристику, данную этому жанру самим автором. По убеждению Ленау, «подлинное поэтическое воспроизведение природы должно

приводить к значительным коллизиям природы с человеком, — так, чтобы из этих коллизий получалось уже нечто третье; органически живое, и в этом новом высшем духовном единстве растворились бы и природа и человек...»

Следует отметить, что в самом принципе такого одушевления природы Ленау весьма далек от немецких поэтов-романтиков. Немецкие романтики, одушевляя природу, мечтали о создании «нового мифа». Природа в их поэзии покрыта мистической дымкой, населена богами и таинственной нечистью. «Последний романтик» Гейне, слишком ясный ум, чтобы разделять с романтиками старшего поколения их туманные, мифотворческие мечтания, сообщает своим пейзажам особую фантастическую декоративность. В его стихах мы встречаемся с природой немецкой сказки и восточных легенд. Ленау — вопреки утверждениям немецких историков литературы, будто бы именно в его поэзии мечта о мифе немецких романтиков получила свое художественное воплощение — на самом деле в равной мере далек и от «мифического природовидения» (*mythische Naturschau*) немецких романтиков, и от декоративного пейзажного письма Гейне.

Его стихи о природе по сути глубоко реалистичны. Он не населяет природу, подобно романтикам, таинственными выходцами из неведомых миров. Он только вкладывает в нее собственные чувства, собственные переживания, настроения. Вместе с Гете он мог бы сказать, что «ничего не знает в мире вне отношений к человеку, не хочет никакого искусства, которое не было бы сколком с этих отношений».

Поэзия Ленау, как творчество каждого большого, оригинального поэта, — это особый неповторимый мир. Раз столкнувшись с нею, нельзя не запомнить ни его степных картин, ни его беззаботных «Трех цыган», ни его «Песен в камышах» — этой вершины пейзажной живописи Ленау, ни того хмурого неба, которое поэт наполнил мраком собственных тяжелых раздумий («Печаль небес»).

Совершенно особое место в поэзии Ленау

занимают его стихи, посвященные Венгрии, в которой он прожил годы своего детства. Слух и глаз поэта особенно чутко улавливали настроения венгерской природы. Она воссоздается им в пестром драматическом движении; тонкие зарисовки пейзажа здесь перемешаны с яркими жанровыми сценами мадьярского быта. Этот цикл представлен в нашем отборе стихотворением «Корчма в степи». Оно построено на чередовании и резком смешении контрастов: шумный табу́н скакунов нарушает тишину предгрозы, служит как бы драматическим контрастом природному миру, чтобы позднее стать как бы прологом к новому повороту в жизни природы — разразившейся грозе, шумной и безудержной, как вот этот пронесшийся табу́н. И новый переход: сквозь грозовой мрак и дождь мигает огонек степной корчмы — мирное убежище среди разбушевавшихся сил природы. Но, по мере приближения путника к возделанному убежищу, гроза и дождь стихают. И уже корчма, издали такая мирная, становится средоточием бури и мятежа. Под песни и музыку цыган там отплясывают удалые разбойники. И — новый контраст! — среди бурного веселья мрачные думы атамана, предчувствие скорой гибели, позорной плахи. По знаку атамана разбойники быстро садятся на коней и, еще раз вспугнув тишину ночной природы, исчезают во мраке, тонут в степной тиши. В корчме остаются лишь музыканты-цыганы и поют старинную песнь о славном разбойнике Ракочи.

На тех же быстрых переходах от веселья к грустному раздумью построено и другое стихотворение венгерского цикла, например, «Вербовка» (рекрутов), где ритм в лад повествованию трижды подымается до бурного веселья и трижды опять затихает, наполняется горечью, грустью и, наконец, скорбно обрывается, смолкает... Должно быть, прав знаменитый венгерский композитор, Франц Лист, ставивший эти ленауские переходы от разгула к раздумью во внутреннюю зависимость от характера мадьярско-цыганской музыки с ее быстрым чередованием мажора и минора¹. Как бы то ни было, во всей немецкой литературе мы не встретимся с таким ритмическим построением, с таким своеобразным музыкально-композиционным принципом — вдохновенным сочетанием зрительных и акустических эффектов.

Лирические песни, меланхолические раздумья и то своеобразное сочетание пейзажа и жанра, которое мы наблюдаем в его венгерских и американских циклах, не исчерпывают творчества Ленау. Николаус Ленау не только лирик, не только «поэт неуловимых оттенков»,

¹ F. Liszt. „La musique des bohémiens en Hongrie“.

как его называют историки немецкой литературы, он и поэт политический. И здесь невольно напрашивается параллель с Тютчевым. Однако, между Тютчевым-лириком и Тютчевым-политическим поэтом можно установить разве только биографическое, но никак не поэтическое единство. Даже единомышленник Тютчева, славянофил И. С. Аксаков, отзывался о политических стихотворениях Тютчева, как о творениях, которые «дороги только по имени автора, а не сами по себе». Не то у Ленау. Его политические стихотворения, напротив, служат как бы ключом для истинного понимания всей его поэзии.

Николаус Ленау (его настоящее имя Франц-Николаус Нимбш фон Штреленау) родился 13 августа 1802 года. Его детство протекало в обстановке нищеты, голода и холода. Позднее он попадает на попечение враждовавшего с его матерью деда, который дал ему возможность окончить медицинский факультет Венского университета. В 1832 году Ленау совершает путешествие в Северную Америку. В 1844 году он заболевает неизлечимой душевной болезнью. День его смерти — 22 августа 1850 г.

Как видно из этой краткой хронологии, вся литературная деятельность Ленау протекала в сумерках истории, в эпоху европейской реакции. Ему было всего 13 лет ко времени поражения Наполеона при Ватерлоо. В течение всей недолгой жизни Ленау, его родина, Австрия, управлялась князем Меттернихом, реакционнейшим министром той реакционной эпохи. Всякое проявление независимости, всякая свободная мысль беспощадно подавлялись. Июльская революция 1830 года во Франции почти не нашла отклика в немецких государствах. А боевой 1848 год с его бурными революционными событиями застал Ленау уже живым трупом в палате умалишенных.

Ленау, который при всем его вольнолюбии не был причастен к политическим кругам, участвовавшим в подготовке надвигающихся революционных событий, видел вокруг себя только беспросветный мрак реакции и относил срок наступления свободы к далеким грядущим векам. Но зато в эту — пусть далекую — свободу он верил твердо и знал, что единая цепь революционных событий, которые он перечисляет в заключительной строфе одной из своих поэм, не оборвется, что великие подвиги во имя конечного раскрепощения человечества приведут грядущие поколения к исковой цели.

Однако сознание, что ему самому не придется быть свидетелем этой конечной свободы, наполняло его горечью и скорбью близкой к отчаянию. Здесь — причина того глубокого пессимизма, которым проникнута лирика этого немецкого байрониста. Наиболее яркое произведение политической поэзии Ле-

нау — его поэма «Альбигойцы», представленная в нашем отборе замечательным отрывком «Старик». Впрочем, «Альбигойцы», как и все поэмы Ленау, нам всегда представляются скорее сводом вдохновенных фрагментов — настолько лирический жар в них доминирует над драматическим развитием действия.

Стихотворение «Холостяк» — патологический образ отчаяния, одиночества и бездомности, ужасный памятник человеческой опустошенно-

сти. Это — тупик, в который загнала человека эпоха реакции и политического гнета. Тем более должна нас трогать та пламенная вера в свободу, которая одушевляет поэзию Ленау, та бесконечная нежность, которой проникнуты лирические пейзажи Ленау, — нежность, уцелевшая в душе человеческой, столь жестоко искалеченной его временем.

Н. Вильям-Вильмонт

Лотта

(ПЕСНИ В КАМЫШАХ)

1

Лег последний луч на нивы,
День усталый изнемог.
Над водой склонились ивы.
Пруд безмолвен, пруд глубок.

Дни любви, как сон, прошли вы,—
Плачь, душа, в немой тоске.
Шелестят печально ивы,
Стонет ветер в тростнике.

Ты одна — мой луч пугливый
В бездне темных, скорбных мук.
От звезды любви, сквозь ивы,
Пал на воду светлый круг.

2

Смерклось. Буря тучи гонит.
Хлынул черный дождь из туч.
Ветер воет, ветер стонет:
Где же, пруд, твой звездный луч?

Ищет, где в бурлящем море
Эта светлая струя?
Ах, в моем глубоком горе
Не блеснет любовь твоя.

3

Вечеру, лесной тропой
Пробираюсь в камыши —
Над пустынную водою
О тебе грустить в тиши.

Если ветер листья тронет
И тростник береговой

С тихой жалобой застонет —
Плачу, плачу, сам не свой.

Ибо сладостен, чудесен
Вновь звучит мне голос твой.
Он исходит в звуках песен,
Замирая над водой.

4

Тучи нанесло.
Сумрак на земле.
Ветер тяжело
Бьется в душной мгле.

Стрелы молний, треск,
Гром, да ветра вой.
Бродит беглый блеск
В бездне прудовой.

Вижу в блеске гроз
Лишь тебя одну,
Взвихренных волос
Вольную волну.

5

Пруд недвижим. Золотая
Льет луна поток лучей,
Розы бледные вплетая
В зелень темных камышей.

На холме олень пасется,
Смотрит в ночь, на лунный лик.
Сонно птица шевельнется,
Дрогнет дремлющий тростник.

Плачу вновь, и тень былого —
Нежный, светлый образ твой
Наполняет душу снова,
Как молитва в час ночной.

Печаль неба

На лике неба хмурой, темной тучей
Блуждает мысль, минувшей бури след.
Под резким ветром бьется лист лету-
чий,
Как сумасшедший, впавший в буйный
бред.

Рыдает гром глухими голосами,

Чуть вспыхнув, меркнет бледный свет
зарниц.

Порой в очах, наполненных слезами,
Так слабый луч дрожит из-под ресниц.

Над степью тени призрачные встали,
Сырой туман окутал все вокруг...
И небо смолкло в мертвенной печали,
Бессильно солнце выронив из рук.

Осеннее решенье

Осень, тучи, ветра свист, —
Одному в дороге трудно...
Смолкли птицы, вянет лист.
Ах, как тихо, как безлюдно!

Словно смерть, идет зима;
Лес мой, где твои напевы?
Где твой шелест, полутьма?
Золотые нивы, где вы?

В поле стал пастись туман.
Бесприютный холод бродит;
В голой роще, вдоль полян
Веет скорбью. Жизнь уходит.

Сердце! Слышишь, как поток
По скалам грохочет грозою?

Был у нас не малый срок
Обсудить дела серьезно.

Сердце, ты сожгло себя,
Всех терзало понемногу.
Многим верило, любя.
Что ж, пойдем-ка в путь дорогу.

Я тебя на дальний путь
Спрячу вглубь, стяну потуже,
Чтоб ни ветру не дохнуть,
Не достать коварной стуже.

Молча, мы в последний раз
Побредем тропой унылой.
Только дождь помянет нас,
Да поплачет над могилой.

Корчма в степи

Я брел по Венгрии, — один.
Душе отрадно было
Глядеть в пустую даль равнин,
Тянувшихся уныло.

Степь ширилась, тиха, мертва.
День догорал. Устало
Шли облака. Едва-едва
Зарница трепетала.

И вдруг — неясный шум во мгле,
В бездонной, темной дали.
Я ухо приложил к земле...
Не кони ль там скакали?

Все ближе, ближе — стук копыт
Наполнил землю дрожью,
Так сердце робкое дрожит,
Почувяв кару божию.

И вдруг вблизи, распалены
Пастушьим гамом, гиком,
Промчались бурей табуны,
Беснуясь в беге диком.

Горячий конь летит стрелой,
Храпит и ржет в тревоге.
Обгонит он и ветер злой,
Сметет его с дороги!

Но держит крепкая рука.
Конь бесится напрасно.
Тисками воля седока
Его сжимает властно.

Неслись туда, откуда шла
Ненасгья злая сила.
Исчезли — будто ночь и мгла
Их разом поглотила.

Но все казалось, что дрожит
Земля в тревоге жгучей,
Что гром несется от копыт
И вьются гривы тучей.

И те же тучи, табуном,
В гремящем небе мчались
Кругом будили гул и гром.
И в беге умножались.

А буря, конюх удалой,
Ревела и свистала,
И плетью молнии витой
Лихой табун хлестала.

Но бег разгорячил коней,
Стал глуше топот злобный,
И, словно пот, сильней, сильней
Закапал дождик дробный.

Я брел. Уже сгущалась тьма.
Но вдруг кивнул с дороги
Мне белый дом из-под холма, —
И окрылились ноги.

Умолкнул дождь. Гроза прошла,
И, радуясь погоде,
Над степью радуга взошла
На влажном небосводе.

Я шел быстрее, к холму спеша.
Закатное светило
Плетеный кров из камыша
И окна позлатило.

Как пьяный — хмель плясал во-
круг,

Так зелен, так чудесен!
И зазвучала скрипка вдруг
Под гром веселых песен.

И я вошел, и, всем чужой,
Присел поодаль с чаркой.
Кружилась пляска предо мной,
Подобно буре жаркой.

Букет девиц — во всей красе,
Тела — как налитые;
Сильны, стройны! Мужчины все—
Разбойники степные.

Бряцает в такт железо шпор,
Задорно плещут руки.
Гремит, ликуя, буйный хор,
Исполнен тайной муки.

Они поют: «мы — вольный род!
Будь счастлив жизнью краткой!»
— Из глаз, хотя смеется рот,
Бежит слеза украдкой.

Сидит, поникнув головой,
Их атаман угрюмый.
Клянет, как видно, жребий свой,
Печальной полон думой.

Как по ночам в лесу костер
За темными ветвями,
Горит его блестящий взор
Под черными бровями.

Все тяжелей хмельной туман,
Все больше в танцах жару.
Бросает на пол атаман
Свою пустую чару.

С ним девочка — тиха, бледна.
К его груди прильнула,
Прижалась к ней, утомлена
Веселием разгула.

Он смотрит на дитя свое
Любовно и счастливо.
Он смотрит вдаль, на жизнь ее,
Терзаясь молчаливо.

Все жарче скрипка жжет сердца,
Все громче беснованье.
Растут без края, без конца
Разгул и ликование.

И даже атаман блеснул
Угрюмыми глазами.
Я вспомнил палача, вздохнул,
И вышел со слезами.

Лежала степь, мертва, темна,
Лишь в небе жизнь бродила,
Блестала полная луна,
Снята шли светила.

И атаман покинул дом;
Сошел, и чутким слухом
Сперва послушал ночь, потом
К земле прикинул ухом:

Не слышно ль топота вдали,
Не ждать ли грозной кары,
Не выдает ли дрожь земли,
Что близятся гусары?

Все было тихо, — поглядел
И поднял к небу очи,
Как будто молвить он хотел
Луне и звездам ночи:

«О, месяц, непорочный брат!
Ты, первый в звездном хоре!
Ты счастлив, ты блажен стократ
В лазоревом просторе!»

Прикинул вновь — и прынул
вдруг,
И крикнул в глубь трактира,

И мигом замер шумный круг,
Смолк буйный гомон пира.

И, мысли огненной быстрей,
Вся банда набежала, —
И вихрем — в седла, и — в шпо-
ры коней:

Кругом земля задрожала.

Одни цыгане не ушли,
И долго в сумрак ночи
Напевы грозные текли
Мятежника Ракочи.

Три цыгана

Грузно плелся мой шарабан
Голой песчаной равниной.
Вдруг увидел я троих цыган
Под придорожной осиной.

Первый играл на скрипке. Кругом
Рдел закат, догорая.
Бодро звенела под смычком
Песенка огневая.

А другой, с чубуком, прилет
Закурить на покое, —
Радуясь, будто глядеть на дымок—
Высшее счастье земное.

Третий, подле своих цимбал,
Мирно спал беззаботный.
В струнах ветер степной трепетал,
В сердце — сон мимолетный.

Каждый был в платье, протертом
до дыр—
Тряпки да рвань цветная.
Каждый гордо глядел на мир,
Жребий злой презирая.

Трижды я понял, как счастье
брать,
Вырваться сердцем на волю,
Как проспать, прокурить, про-
играть
Трижды презренную долю.

Долго — уж темная ночь низо-
шла,
Мне чудились три цыгана.
Волосы, черные, как смола,
И лица их, цвета шафрана.

Смотри в поток

Кто знал, как счастья день бе-
жит,
Кто счастья цену знает,
Взгляни в ручей, где все дрожит
И, зыблясь, исчезает.

Смотри: уйдет одна струя,
Придет струя другая, —
И станет глуше скорбь твоя,
Утраты боль живая.

Рыдай над тем, что рок унес,
Но взор впери глубоко
Сквозь пелену горячих слез
В изменчивость потока.

Найдешь забвенья в глуби вод,
И сердцу будет зримо:
Сама душа твоя плывет
С ее печалью мимо.

Ниагара

Мимо леса, мимо яра,
Полноводна и светла,
Бодро мчится Ниагара,
Будто юность, весела.

Мчится вольным, плавным током
Сквозь глубокий темный бор,
Отражает влажным оком
Тихой ночи звездный хор.

Так беззвучен ток хрустальный,
Что в смущеньи пешеход
Внемлет гул и грохот дальный
Низвергающихся вод.

Шире, шире их владенья,
Ближе, ближе крутизна.
Дикой радости паденья
Возалкала вдруг волна.

И, преграды презирая,
Рвется вал, грозя бедой,
Небо синее терзая,
Полоненное водой.

В гуле, в грохоте круженья,
Злобных вод напор жесток —
Будто жаждет низверженья,
Жаждет гибели поток.

Если путник чуял глухо
Дальный, смутный шум валов,
Все вблизи мертво для слуха,
Ибо слишком громок рев.

Вы бесплодно бы внимали
Буре вод, приблизясь к ней —
Ведь пророк из темной дали
Слушал гул грядущих дней.

Старик

(из поэмы „Альбигойцы“)

Слава бурям древних дней!
Вы, вздымая скал громаду,
Сотворили из камней
Это ложе мне в усладу.

Здесь поток по гребням скал
Плещет бешеной волною.
С ним в зияющий провал
Жизнь уходит предо мною.

Прочь! Возврата мертвым нет!
Станет скорбь и радость былью.
Тени прошлых, милых лет,
Вихрь умчит вас легкой пылью.

Пусть пришел бы некий бог,
И, черпнув глубоко волны,
Молвил: «Пей кипящий сок,
Новый кубок, жизни полный!»

Я б ответил: «Нет, не пью!
Что пропало, то пропало.
Пусть бесследно жизнь мою
Время мчит во тьму провала!»

Мне в глаза седой поток
Брызжет пеною сердитой, —
Иль вернуть мне жаждет рок
Слезы горести забытой?

Нет, лети, крылатый миг,
Мне даров твоих не надо,
Слышу твой предсмертный крик
В бурном шуме водопада.

Вечный дух! С крутой скалы
Я слежу за жизнью вздорной.
Как скала прочней золы,
Я прочней скалы нагорной.

Кружит коршун в вышине,
Дикий страж вершин холодных,
Словно коршун, скорбь во мне,
Скорбь о жребьи земнородных.

Когти крепки, быстрый лет,
Зорко злое видит око,
Пламень в кровь она мне льет
Грудь мою когтит жестоко.

Мир войной опустошен,
Всюду мерзость запустенья,
Молча в горсть погружен,
Кто избегнул истребленья.

Сто погребло крепостей,
Трупов сонм гниет несчетный
Пепел торжищ и людей
Носит ветер перелетный.

А свобода не пришла;
Только отблеск отдаленный,
Но не свет ее чела
Час явил нам довременный.

Первым словом окрылен,
С вешей радостью предтечи,
К нам, ликуя, мчался он,
Не дослушав новой речи.

Ах, то был волшебный зов!
Мир внимал с тоскою жадной
Смокла песнь иных миров
В громе битвы беспощадной.

Кто, от скорби и от слез
Усомнился в вечном духе,
Кто, не дрогнув и пронес
Бога в бурях и в разрухе.

Что ж о мертвых нам скорбеть?
Пусть поток уносит годы!
Горше то, что мне не зреть
Дружбы мира и свободы.

Но тюрьму мой дух прорвет,
Сбросит брентную природу,
И, в других ожив, найдет
Мощь, величье и свободу.

Холостяк

Не ждуг ни дети, ни жена
Меня в мансарде голой,
Не знает нежных слов она,
Иль беготни веселой.

Там не залает верный пес,
Товарищ престарелый.
Лишь дым — наперсник давних
грез,

Да череп пожелтелый.

Кольцо в кольцо — уходит дым,
А тигель мозга брентный
Стоит пред зеркалом моим,
Как зеркало вселенной.

Я друга мудро усадил
На полку в назиданье.
Я смертью в сердце охладил
Палящее желанье.

Угрюмо созерцая кость
И тусклый облак дыма,
Мне третий друг, незримый гость,
Сказал неумолимо:

На что жена, на что семья?
Живи в своем лишь мире.
Как мутный дым, душа твоя
Рассеется в эфире.

И этот череп встарь курил,
Пылал огнем волнений,
Когда курильщик в нем царил,
Забытый миром гений.

Сам древний Пан туманил твердь,
Дымя из этой трубки.
Пан докурил, настала смерть.
Земные твари хрупки.

Но что ж, когда касался бог
Его рукой священной,
Как знать—и череп страшный мог
Блестать красой нетленной.

Исчез неведомый жилец,
О нем не вспомнят боле.
И был он мудр, иль был глупец—
Для нас не все равно ли?

Не все ль, что в воздух выдул
Пан:

Нужда в людской пустыне,
Блаженство, боль душевных ран,
Не все ль забыто ныне?

И дым забыт, и жар забыт
В круженьи урагана.
Их образ призрачный хранит
Одна лишь память Пана.

Надежды вихрем унесло,
Виною людская злоба.
Так не впушу и пса назло,
Запрусь один, до гроба.

Пусть не рыдать друзьям, родным
На нищем погребеньи, —
Что ж — закурю, чтоб вновь на
дым

Глядеть в оцепененьи.

Перевод с немецкого В. Левика